УДК 32.019.51

ГОРИН Д.Г.

Репрезентация политики в российской культуре: принципы видения, инструменты и тенденции

В статье рассматривается влияние политической централизации и децентрализации на модификацию репрезентации политики в российской культуре. Анализу подвергаются такие проблемы, как кризис публичной политики, трансформация идеологического сознания и изменение оснований легитимации власти.

Ключевые слова: репрезентация политики, центр, периферия, политическая традиция, инструменты и ресурсы политической власти, идеология.

В репрезентации политики, по словам А. Бадью, «в счет идут не силовые отношения, но практические мыслительные процессы»[1]. И эти мыслительные процессы в значительной степени оказываются самозамкнутыми: темы политических споров предписаны политически, а политика репрезентирует сама себя посредством своих же агентов и инструментов. Как показал С. Жижек, ссылаясь на К. Маркса и Ж. Лакана, политическая репрезентация никогда не отражает интересы различных классов и групп непосредственно. Например, если мы имеем дело с несколькими группами, то «их общий интерес может быть представлен только в виде отрицания их общей предпосылки: общий знаменатель двух роялистских фракций – вовсе не роялизм, а республиканизм». Согласно той же логике, «до тех пор, пока лидер воспринимает себя стоящим над классовыми интересами, его непосредственной классовой базой может быть лишь экскрементальный остаток всех классов, отвергаемый не-класс всех классов»[2]. Так же и в современной России: общим знаменателем для различных сил, заинтересованных в поддержании политического status quo, стал дискурс «Уралмашвагонзавода», за которым стоит лишь «не-классовый остаток», оформленный весьма ловкими проекциями политтехнологов. Впрочем, тот же парадокс репрезентации политики действует и для сил, стремящихся изменить этот status quo: российский протест ускользает не только от политического оформления, но даже от политического определения, а лидеры оппозиции часто обвиняются в «невнятности» и «отсутствии программы». Если репрезентация политики обладает столь высокой степенью самозамкнутости, то возникает угроза ее выпадения из общих социальных контекстов. Признаки такого выпадения в настоящее время вполне очевидны. Связь навязываемых политических дебатов о «чувствах верующих», «иностранных агентах», «пропаганде гомосексуализма», «уголовной ответственности за критику войск антигитлеровской коалиции» и т.д. с актуальными проблемами общества и отдельных его страт весьма сомнительна.

Теоретическое описание проблемы нарастания «зазора» между социальными контекстами и сконструированными картинами реальности было предпринято, в частности, в анализе Н. Луманом «реальности массмедиа». «То, что массмедиа,

вопреки замкнутости их операций, не возвышаются над обществом, не вырывают себя из него, обеспечивается с помощью тем коммуникации», – писал он[3]. Введенное им понятие «тем коммуникации» было необходимо для описания ключевого условия, поддерживающего непрерывное согласование «самореференции» и «инореференции» внутри коммуникативной системы, подобной той, какой является политика. Сгущается в тему лишь то, что создает определенную частоту медиакоммуникации и порождает дальнейшие коммуникации. Успех в поддержании реальности политического обеспечивается, лишь когда предлагаемые темы коммуникаций достаточно эластичны и общественно признаны. Интерес к ним поддерживается чаще всего именно их способностью вызывать разные оценки и позволять обосновывать разные позиции.

Разумеется, перечисленные выше темы коммуникации, воспроизводящиеся в российском публичном дискурсе нового политического цикла, начавшегося в 2011/2012 гг., обладают некоторыми из этих свойств. Каждая из них вызывает острую полемику, сталкивая сторонников и противников новых законодательных инициатив и создавая иллюзию политических дебатов. Однако отвлечение политических дискурсов с помощью таких тем коммуникации от реальных социальных контекстов оказывается эффективным лишь в краткосрочной перспективе. Когда господствующий дискурс эксплуатирует образы врага, паразитирует на выхолощенной символике прошлого и сталкивает одни группы с другими, самое время задуматься об этих чертах как о симптомах серьезного кризиса публичной репрезентации политики. К проявлениям этого кризиса можно отнести не только невнятность политических программ, отсутствие обоснованной политической воли как со стороны власти, так и со стороны общества, но и новую реанимацию политических фриков, апатию избирателей и очевидную манипуляцию темами коммуникации. Все это разрушает диалогичность публичной политики и, соответственно, делегитимирует власть. Как писала в свое время Х. Арендт, «если функция публичной сферы – в том, чтобы проливать свет на человеческие дела, обеспечивая пространство яви, в котором люди – делом или словом, к лучшему или худшему – могут показать, кто они такие и что могут сделать, то, значит, наступает тьма, если этот свет гасят «кризис доверия» и «закулисное правительство», речь, не раскрывающая, а заметающая под ковер то, что есть, и призывы, моральные и прочие, под предлогом защиты старых истин всякую истину низводящие до бессмысленного трюизма»[4]. Впрочем, особенности репрезентации политики в российской культуре имеют свое отражение и в языке, характеризующемся бедностью политического лексикона. Например, словом «политика» мы переводим три английских термина (*policy* –политический курс или совместная деятельность власти и общества в решении конкретных проблем; *politics* – политическая борьба; *polity* – устройство политической сферы)[5]. Неразвитость политической лексики, очевидно, является следствием огосударствления политических репрезентаций.

Сферу публичной политики вряд ли возможно упразднить. Но, как показывает российский опыт, ее можно парализовать, подчинив прямолинейной логике власти и административной рутинизации. Инструменты такой парализации в российской политической традиции не отличаются разнообразием. На протяжении длительного времени репрезентация политики основывалась на патерналистско-вертикальной идентичности различных слоев с централизованной и персонифицированной властью. Однако, если следовать приведенной выше логике С. Жижека, такая идентичность возможна, только когда первое лицо опирается не на реальные интересы всех групп, а на остаточный «излишек» этих интересов. Реальные интересы при этом либо не артикулируются, либо вытесняются за рамки господствующего дискурса. Петр I, например, в качестве идеологической основы своих преобразований должен был выбрать именно такую макроинтеграционную систему мысли, которая не имела бы явной связи ни с одним из сословий или ни с одной из отечественных традиций. В качестве такой системы стала, как известно, заимствованная имперская идеология,

потребовавшая впоследствии создания полицейского государства и сохраняющая свою символическую силу до сих пор.

Такая репрезентация политики обеспечивалась сложившейся в российском обществе системой центр-периферийных отношений, которая вовсе не сводится к политическим институтам или территориально-структурным аспектам организации власти. Она включает в себя прежде всего определенные смысловые порядки, являющиеся инструментом централизации коммуникативных систем, ограничения влияния периферийных смыслов и селекции тем коммуникации. Центр предстает, по словам Э. Шилза, как «центр порядка символов, ценностей и мнений, который правит обществом»[6]. Центр активно задействован в формировании символических структур и конструктов, распространенных в периферийных сферах жизни общества. «Построение центров, – пишет Ш. Эйзенштадт, – означает на макросоциальном уровне создание фокуса институциализации в символических и организационных аспектах социальной жизни, формирование места, где организационные характеристики и проблемы соединяются с макрообразцами смысловых значений; иначе говоря, где происходит преобразование специфических организационных проблем в символические формы с нормативно запрограммированными характеристиками»[7].

Характерной особенностью российской системы центр-периферийных отношений является тот факт, что центр как механизм макрорегуляции представлен в основном институтами государства. На Западе еще в эпоху средневековья центры светской и духовной власти были не только разделены, но и реально конкурировали. Затем принципы центр-периферийной регуляции еще более дифференцировались[8]. Иное дело в России. Именно государство здесь колонизирует сферу ценностей и смыслов, воссоздавая патерналистскую модель. На разных этапах российской истории центр закреплял за собой право на установление сакральных и идеологических порядков, предлагая определенный тип интерпретации прошлого, настоящего и будущего. Практически все ключевые поворотные события в истории России связаны с «реформами сверху».

Выступая инициатором любых изменений, центр сталкивался со сложностью их реализации в масштабах огромного и весьма разнообразного евразийского пространства. Устойчивой реакцией центра на эту сложность были попытки упрощения этого пространства путем его унификации и выстраивания жесткой «вертикали власти». Проявление периферийных и выпадающих из логики центра смыслов часто воспринималось как признак сопротивления, которое нужно искоренить или в лучшем случае подчинить. «Российский режим отличался едва ли не самым низким уровнем автономного доступа и воздействия периферии на центр», – писал Ш. Эйзенштадт[9]. Однако такая централизация находится в противоречии с повышенным разнообразием периферии. Россия – поликонфессиональная, поликультурная, полиэтничная страна. Любой процесс здесь протекает как принципиально асинхронный, а отдельные регионы и периферийные группы демонстрируют ту или иную степень автономности от центра. Причем в периоды активных изменений территориальные и культурные различия усиливаются.

Отсюда весьма характерная для российского публичного дискурса двойственность. Она проявляется в противопоставлении государства и общества, власти и народа, порождая парадоксальное соседство этатизма и анархизма, патернализма и вольности, централизма и сепаратизма. В правосознании также наблюдается противопоставление закона и обычая – формальных законов и неформальных норм, позволяющих эти законы обходить. Известное изречение о том, что жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, не потеряло своей актуальности и сегодня. Современные законотворческие инициативы часто являются не выражением общественной потребности в формализации социальных регуляторов, а представляют собой произвольное творение власти. В свою очередь неформальные нормы, компенсирующие издержки законотворчества, вытесняются из публичного пространства в теневые сферы жизни. Фактический распад институциональной среды и бесконечное

переписывание «правил игры», ведущие к слому структур доверия и релятивизации любых регуляторов, – стали общим местом в анализе современной российской ситуации.

Решение властью проблемы роста протестных настроений в новом политическом цикле вполне укладывается в понятные и привычные для нее стереотипы: разделение, маргинализация и устрашение протестующих при одновременной консолидации общества на основе «негативной идентичности» и манипулирования темами коммуникации. Ключевым инструментом власти в подобных ситуациях всегда была «идея-правительница» (если выражаться в терминологии евразийцев). В ее роли выступали либо секулярное имперское сознание, либо идеологизированная «государствообразующая религия», либо идеология, возведенная до уровня чуть ли не религии (как это было с «коммунистической верой»[10] в советской культуре). Категории идеологического сознания весьма эффективно определяли политический выбор, политическое мышление и логику репрезентации политических событий. Разумеется, и в нынешних условиях власть хотела бы получить подобный инструмент (о чем свидетельствуют попытки использования православия в политических целях или «раскручивание» идеологии «Уралмашвагонзавода»). Однако социальная и культурная ситуация принципиально изменилась, и создание подобного инструмента – некой новой «идеи-правительницы» – сегодня уже невозможно. Причин здесь много[11], но следует назвать главные. Во-первых, общая идея овладевает народами в эпоху массовых движений. Но подобные движения в обозримой перспективе возможны только как принципиально разнородные в плане идейных ориентаций. Сегодня, когда социальные взаимодействия усложняются, радикально увеличивается число участников политических коммуникаций, растет значение микрополитики, жесткие идеологические обобщения уже не работают или работают в заметно ограниченном и потому малоэффективном режиме. Во-вторых, даже самая привлекательная идея часто остается верхушечным явлением. А в условиях наблюдаемого сужения пространства письменной культуры на фоне социального расслоения и культурной дифференциации это тем более так. В-третьих, российская политическая культура уже научились сканировать состояния постмодерна. Многие хорошо чувствуют себя в обществе потребления, где, как известно, работают совсем другие регуляторы – не идеократические. И в-четвертых, в разных сообществах, прежде всего в слоях так называемого «креативного класса», хотя и не только в них, идет поиск коллективных идентичностей, которые представляют собой достаточно сложные феномены, чтобы их можно было легко вытеснить идеологическими обобщениями. Вряд ли эти процессы поиска оснований автономного от государственно-властного патернализма гражданского самосознания возможно остановить. Поэтому власть идет по пути создания идеологических конструктов не для всех, а лишь для консервативно настроенных слоев общества, провоцируя противопоставление одних другим. В любом случае «неовизантийский» дискурс государственной идеократии уже не может быть эффективен в стране, где три четверти населения – горожане, где на смену манипуляции клиентелистскими связями приходят более сложные механизмы согласования интересов и где затянувшийся кризис заставил активную часть российских граждан стать самостоятельными.

Впрочем, осознавая утрату эффективности идеологических обобщений (или не осознавая, а интуитивно чувствуя ее), власть научилась решать стоящие перед ней задачи в обход публичных дебатов. Если раньше обсуждение тех или иных проблем оборачивалось в нужные идеологические обертки, то теперь, когда их общественная сила стала сомнительной, неудобные темы просто выводятся из сферы коммуникаций. Это позволяет до некоторой степени обеспечивать лояльность, хотя и ценой парализации сферы публичной политики. Но, соглашаясь на отказ от публичной политической репрезентации своих неоднородных интересов, общество рискует оказаться в ментальной пустыне, где есть только деньги, власть и подогреваемые ими страхи. Однако страхов явно недостаточно для публичного оправдания легитимности власти.

Поэтому в современной России проблема поиска принципиально новых коммуникативных конфигураций репрезентации политики стоит весьма остро. Такая репрезентация вряд ли будет идеократической, и она не может быть воспроизведена вокруг централизованной властной иерархии. Современное общество, как известно, строится преимущественно на горизонтальной, сетевой логике интеграции. Сетевая гражданская самоорганизация уже сегодня является важнейшим источником тем коммуникации, оживляющих сферу политического, а со временем эти процессы вполне могут стать прочной основой для новой репрезентации политики.

[1] Бадью С. Метаполитика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.: Логос, 2005. С. 83.

[2] Жижек С. Год невозможного. Искусство мечтать опасно. М.: Европа, 2012. С. 51, 52.

[3] Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Канон+, Реабилитация, 2012. С. 26.

[4] Арендт Х. Люди в темные времена. М.: Московская школа политических исследований, 2003. С. 8.

[5] См.: Новый общественно-политический словарь. Пер. с франц. М.: Московская школа политических исследований, 2008. С. 11.

[6] Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972. С. 348–359.

[7] Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект-пресс, 1999. С. 80.

[8] См.: Каспэ С. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Московская школа политических исследований, 2008.

[9] Эйзенштадт Ш. Указ. соч. С. 177.

[10] См., напр.: Рыклин М. Коммунизм как религия: Интеллектуалы и Октябрьская революция. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

[11] См., напр.: Драгунский Д. Утро туманное. Современная Россия в поисках национальной идеи // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2006. № 6.